

Тимур Садыков

Как я уехал в Кострому

СОДЕРЖИТ

НЕЦЕНЗУРНУЮ

БРАНЬ

18+

Тимур Садыков

Как я уехал в Кострому

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=58101199

SelfPub; 2020

Аннотация

Как уехать и как остаться. Как найти свое и своих. Как вернуться из внутренней Ирландии в настоящую и выпить за это с Бренданом Глиссоном. Как примириться со смертью, с потерей любви, с потерей себя и как снова все обрести. И немного о том, как кормить лебедей в дублинском парке Сент-Стивенс Грин, а так же о том, как за кружкой пива в пабе на Гафтон стрит избежать вступления в ИРА. Содержит нецензурную брань.

Я хочу вас кое с кем познакомить. Это моя дверь, ее зовут Берта. Вообще-то она сделана в России, и ее должны были назвать привычнее – Варя, Маша или Анастасия Петровна. Но меня привлекает некое благозвучие европейских имен. Только вслушайтесь: Кьярра, Одри... Эбигейл – вот тоже хорошее имя. А мою дверь зовут Берта. У германцев это древний дух в белых одеждах и с гусиной лапой. Он карает тех, кто жрет в пост. А еще есть Большая Берта – это артиллерийское орудие сверхбольшого калибра. Получается, что моя дверь – кремлевская диета разрушительной силы.

Берта матово-черная. Она легка в уходе и неприхотлива в быту. При покупке мне нахваливали ее сторожевые качества. Говорили, что она ударопрочная, усилена арматурным каркасом и наполнена жидким пенопластом. То есть еще и тепло держать будет, не только оборону. Петли бесшумные, замки неболтливые... Вы когда-нибудь задумывались, что ваш замок знает о вас все? Он знает ваше расписание, пищевые привычки, алкогольные предпочтения, которые оставляют на нем засечки, когда вы не попадаете в замочную скважину с первого раза. Ваш замок мог бы многое рассказать о вас. Но современные замки не болтливы.

Вот вы привыкли к дверям и совершенно не замечаете их уникальных свойств. А ведь в дверь можно не только войти и выйти, ее можно использовать как музыкальный инструмент: хлопать, стучать. В нее можно барабанить, можно скрестись. Под нею можно подвывать. А еще дверь можно

поцеловать.

Сейчас расскажу одну занимательную историю. Одна моя знакомая очень интересно использовала дверь. Она хваталась за верхний край двери, обхватывала ее ногами с двух сторон и елозила так по ней до наступления оргазма. Честное слово, я не шучу! Как-то раз я сам наблюдал этот акробатический этюд. Так что выражение «спать под дверью» обрело для меня новый смысл.

Кстати, дверь подарила нам одну из лучших мелодраматических сцен в мировом кинематографе. «Джек, вернись! Вернись, Джек!» – девочки всего мира тогда писали петиции Кэмерону, обвиняя его в бездушии. Дверь большая, писали они, Роза и Джек могли бы забраться на нее вдвоем и выжить. Но Кэмерон расчетливо убил беднягу Джека и подарил миру лучшую любовную сцену в окружении трупов.

Двери бывают разные. Есть двери путешественников. Они месяцами могут не видеть хозяев. Стоят себе закрытыми. Скучают. Если бы они могли бы выбегать на дорогу и глядеть туда, за горизонт, так бы и делали. Но они на службе: долг. Бывают двери обывателей. Кажется, что «обыватель» – обидное слово. Вот если бы не Чехов, то в слове «обыватель» не было бы ничего обидного. Обыватель – это просто местный житель. А Чехов и тут нам насолил – обозвал ограниченными людьми с мещанскими взглядами на жизнь. Как будто мало его «Вишневого сада» в школьной программе. Но классик прав – моя Берта меня часто видит.

Я не путешественник, я мало где был. Если верить социальной рекламе, то даже пластиковый мешок для мусора путешествует чаще меня. Ирландия всегда была первой в моем списке. Но попасть туда оказалось сложнее, чем в яблоко на голове жены. Вы же помните ту историю, когда стрелок на спор выстрелил в яблоко, стоящее на голове жены, и не попал? В яблоко. Вернее, там была не жена, а сын. И в яблоко как раз он попал. Жену же потом просто так застрелил... Так вот, он попал, а я не попал. Не стрелок я. Ни в яблоко, как говорится, ни в Красную армию. Промахнулся мимо Ирландии чутко, попал в Турцию.

Потом был Египет. Из хорошего в Египте – «Рок-кафе» и виски из дыюти-ффри аэропорта Домодедово. После случился пенсионерский тур. Знаете, когда в большой круизный лайнер пачками грузят европейских пенсионеров и нашу классовую ненависть. Скучно невыразимо! Есть сомнительное развлечение – материть обслугу, но эквадорские парни подозрительно быстро на чистом русском начинают отвечать тем же.

А дальше был Израиль. Знаете, что такое еврейское счастье? Если не знаете, то я не стану объяснять. Вы уже счастливый человек, к чему вам вся боль и скорбь еврейского народа, в исполнении толстого татарина... Где, где мои еврейские корни? Где они, мама?! У меня уже есть еврейское счастье, чувство юмора обреченного человека и бесконечная любовь к земле обетованной. Так где же мой Моисей? Когда

он пойдет к фараону с требованием трех миллионов долларов мелкими купюрами? С ним мы потом будем уходить от погони, раздвинув волжские воды.

Знаете, какое вдохновение снисходит на человека возле Стены Плача? Даже если до этого был ступор, и вы не знали, о чем же написать Всевышнему, то перед Стеной Плача у вас прорезается писательский талант, вам вдруг есть о чем с Ним поговорить, за всех попросить. А потом в Стену рассказать. Надо заметить, что это довольно удобный способ связи с Царством Небесным. Получается, в Израиле народ живет через стенку с богом. Иногда перестукивается.

Потом была еще раз Турция, но дорого, скучно и недолго... Нет, вы не подумайте, с географией у меня неплохо, я вот и глобус купил. Один пьяный автослесарь мне очень советовал:

– Купи глобус. Не выпей, но купи! Раскрути его, как барабан у Якубовича, и ткни. Куда пальцем попадешь – туда и ехай... ик, едь. Наугад не тыкай. В океан попадешь. А это примета плохая. Я вот плаваю плохо. И я в океан не тку... ик, не тычу. У меня друг вот так сильно ткнул, глобус проткнул. Ну и поехал осматривать шахты Кузбасса. Вдумчиво ткать... ик, тыкать надо. И не пить. А хочешь вокруг света за восемьдесят дней? Купи большой глобус. И ходи вокруг. Понял, да? Только Австралию оставь. В Австралию надо ехать после. Чтобы там умереть.

Я до сих пор одного не пойму: чего он так далеко за смер-

тью собрался? Ему здесь земли мало, что ли? В общем, я купил глобус. Куда ткнуть? Хочу в Австралию, да рано мне помирать.

Я знаю, где находится Ирландия. Немного западнее Британии. Чуть в стороне и выше Уэльса. Там варят отличное пиво и делают посредственный виски. Танцуют джигу и пьют как черти. Живут там сплошь рыжие, говорят на смешно звучащем диалекте, клянут англичан. Когда-то эти рыжики построили Америку. Просто сели на подручные плавсредства и сбежали со своего голодного сырого островка в Новый Свет. Захватили с собой святого Патрика, четырехлистный клевер и немного таланта в актерстве и песнопении. Знаете, ирландцы оказались похожими на евреев. Те и другие где-то долго шатались, пока не достигли земли обетованной. Причем ирландцы в пути сильно размножились. Иначе как объяснить, что в Ирландии живет четыре миллиона ирландцев, а в Новом Свете – тридцать три.

Я ни разу не был в Ирландии, но знаю о ней неприлично много. Я простой житель страны морозов, слипшихся пельменей и самогона из табуретки. Что роднит мою родину с Изумрудным островом? Климат? Вряд ли. Наши морозы – бедствие даже для белых медведей. Может, пристрастие к алкоголю? Мешать виски с пивом приятнее, чем мутить ерша. И после даже отрыжка вкуснее. Но сходство на этом заканчивается. Для жителя страны победившей клептократии непатриотично так много знать про земли на севере от Бри-

танских островов и не знать о городе, в который переехал.

Честно говоря, я не выбирал между «уезжать» и «остаться». Уезжать! Распахнуть Берту, погладить ее шершавый металлический бок на прощание и двинуться в путь. Необходимо было выбрать направление. Умные, предприимчивые и смелые бегут из моего родного города в Москву. Умные, но трусоватые – в Питер. Я выбрал Кострому. Кто я? Что этот выбор говорит обо мне? Что я вообще знаю о Костроме, кроме песни?

Кострома – маленький городок в верховьях Волги. Однажды он был дотла сожжен князем Константином. С тех пор он так и стоит в дыму, пепле и копоти, печными остовами сгоревших изб целясь в небо. А если смотреть сбоку, то он становится похож на выбеленный солнцем скелет кита, выбросившегося на пустынный пляж.

В таких местах рождаются всемирно известные босяцкие блюда. В Испанских кварталах Неаполя, в самом логове Коморры родилась пицца. И после захватила мир. А в Костроме появилась солянка, наследие татаро-монгольского ига и наш ответ неаполитанскому влиянию. Маленькие, чернявые потомки чингизидов наполняют Кострому как квашеная капуста деревянную кадку. Даже в разудалой языческой «Костроме» слышится татарский напев: «Кострома, Костромые, государыня моя, Кострома, айе». «Айе» переливисто разливается в припеве, несется над выжженной Костромской землей. Татарское «да» заполняет собой все вокруг. И что-то

родное вдруг накатывает на тебя в этом старом городе, который пережил пару десятков правителей, три пожара и подарил миру солянку. Таковую, с разномастными копченостями, бараньими почками, крупно нарубленными оливками и непременно лимончиком. И моя татарская суть закричит, запоет: «Айе, шундый тамле!»

В Ирландии живет великий актер. Брендан Глисон.

Брендан Глисон любит солянку. Я вам точно это говорю. Даже если ее ни разу не ел, он все равно ее любит. Я виски люблю. Брендан тоже. Я «Гиннесс» люблю – и Брендан его уважает. Я в пабах зависаю. А уж как Брендан там гудит – не вышептать. Я люблю солянку... Прослеживаете взаимосвязь? Я уверен, мы с Бренданом подружимся на почве этой любви. Ведь однажды я ворвусь в Кострому, проскачу ее зелеными улицами, вырвусь на оперативный простор, а там и до Ирландии рукой подать.

По-моему, познакомить Брендана с солянкой – хорошая причина для путешествия в Ирландию через Кострому. Я уже вижу эту картину; сначала касса, тут все классически:

– Ту тикетс ту Даблин.

– Куда, блин?

– Туда, блин!

Потом досмотр:

– Простите, мистер, а что это у вас в котелке? (Exuse me, what do you have in your kettle?)

– Солянка.

– А почему так пахнет? (Why is it smelling so?)

– Свежая.

Затем пограничный контроль.

– Причина визита? (The purpose of the visit?)

– Солянки Брендану привез.

– Настоящей? (Genuine?)

– Да.

– Костромской? (Kostroma?)

И вот когда я утвердительно кивну в ответ, меня уважительно проводят до выхода из аэропорта, подгонят к двери лимузин и с эскортом мотоциклистов сопровождают напрямик по нужному адресу. Доставят к самому порогу дома Брендана Глисона. Старик увидит меня, обнимет, прослезится, а потом нацедит нам по стаканчику. Выпить под горячее – святое дело.

Вот только не надо думать, что мое путешествие продиктовано банальным бытовым пьянством. Алкоголизм – это совсем не то, что вы привыкли себе представлять. Это взять и сорваться к ней посреди ночи. Долго трезвонить в домофон. Ворваться в прихожую, сгрести ее в охапку, зарыться в волосы и страстно шептать, что ты пришел. Ты у ее ног, ты сейчас весь мир заставишь поклоняться ей. Ты говоришь ей, что вот сейчас ты бог, ты – центр мироздания. Ты можешь для нее все.

А она не вырывается, не кричит, не бьет тебя по лицу мокрым полотенцем, не шепчет громко:

– Ты чего орешь?! У меня все спят!

Она ласково берет тебя за подбородок и предлагает еще пятьдесят грамм. А потом как-то легко уходит. Просачивается сквозь тебя. Даже дарит легкий поцелуй. В одно касание, невесомый. И вот ты уже стоишь на морозе дурак дураком, не понимая, что это вообще было.

А утром она пришлет тебе смайлик. И напишет что-то про искру, которую не дают твои отсыревшие свечи. И тогда, только тогда ты точно поймешь, что никогда не представлял, как правильно. Даже когда знал, все равно не знал. А все потому, что ты не по этому делу. Ты – алкоголик.

Чарльз Буковски утверждал, что к алкоголизму надо готовиться. Нельзя просто так взять – и стать алкоголиком. Надо пройти трудный путь от любителя рюмашки за обедом до маргинала, побирающегося у вокзала. Алкоголизм не простуда, его не подхватишь по пути с работы домой. Не скажешь наркологу, что это мальчики за гаражами выпивали, а ты просто рядом стоял. Спонтанного алкоголизма в природе не существует. Доказано лучшими алкоголиками мира.

Как у любого выпивохи, мое пристрастие к алкоголю имеет философское обоснование. Это не просто пьянство, это погружение во внутреннюю Ирландию. В этот раз я погрузился с конкретной целью – выпить с Бренданом Глисоном. Он человек простой и не откажет путешественнику из далекой холодной мамы-Раши в стаканчике-другом. Даже двум путешественникам. Только конченный псих будет выпивать

с Бренданом в одиночку.

Я знаю, что Глисон прошел через пару сотен алкогольных погружений. Он крепкий старик, и попойка с его участием непременно закончится дракой. Лихой кабацкой рубкой. Исход сражения может быть разным. Если Брендан Глиссон навалит нам, наутро парочка местных интернет-изданий черкнет заметочку, что в пабе на углу Henry Street и Liffey Street Upper в легкой разминочной потасовке был замечен Брендан Глисон. Если мы намнем бока Брендану, на следующее утро все мировые СМИ облетит новость о нападении на известного актера двух безумных русских. А дальше пойдут требования к мировому сообществу ужесточить санкции против этих северных варваров. Ну, и про Путина еще чего-нибудь добавят. Новость без Путина – как секс в одиночку: возможен, но не радует.

Лично я ставлю на ничью. На нашей стороне молодость и задор, на его – огромный опыт кабацких драк. Но у нас козырь в рукаве – нас двое. Возможно, это уравнивает шансы. Закончится все в любом случае кружкой «Гиннесса» и лихой татарской «Эх, сыз матур кызлар». Брендан обязательно ее выучит. Татарская плясовая с гаэльским акцентом. Это счастье!

Я уехал в Кострому, чтобы выпить в Ирландии с Бренданом Глисоном. Вы не находите это странным? Как можно переехать в город, про который знаешь меньше, чем про далекую северную страну? Кого я здесь знаю? Никого. Кто меня

здесь ждет? Никто. Как меня зовут местные жители? Никак. Правило трех «н» останавливают целые нашествия, но вот не меня! В конце концов, что знали ирландцы о Новом Свете? Что там есть земля. В нее можно что-нибудь посадить. Из этого может что-то вырасти. Заколоситься, заклубиться и потом по кружкам разлиться. Чтобы потом веселиться.

Что я знаю про Кострому? Там есть земля. В нее можно что-нибудь посадить. Там живут люди. В них можно что-нибудь посадить, чтобы потом посидеть, поговорить. Это даже больше, чем знали ирландские переселенцы. В отличие от них я точно знал, что мой «Титаник» в пути не нарвется на айсберг, и до своего нового света я доберусь целиком и без посторонней помощи.

На карте мира давно нет белых пятен. Эпоха великих географических открытий закончилась. Но у меня свой глобус, и он белый. Два-три пятнышка плюс немного России – не в счет. Там, где у нормальных людей Ирландия, у меня белое пятно. Просто море первозданного чистого белого цвета. Где Кострома – тоже. Не мир, а сплошная терра инкогнита. Ирландия – это «Гиннесс», шествие на День святого Патрика, музыка и террористы в Белфасте. И еще пару «Гиннесса» повторите, пожалуйста. Кострома? Что это? Знания о Костроме еще беднее. Станет она моей новой любовью? Затеplit внутри? Будет выходить на дорогу в моменты кратких разлук?

Я мало что понимаю в женских городах. Как и в жен-

ских странах. Они открыты случайным знакомствам? Они доступны? Любят выпить? Ласковы во хмелю? Я не знаю, как любить женский город. И женскую страну. Я бы мог любить ирландскую глубинку так же, как русскую: разбавить скрипочки пастушьими рожками, запить ржаной самогон темным элем. Начать день с коддла, а завершить котлетами с тушеной капустой. И любить этот симбиоз свинцовых небес, прибрежных дюн, лиственных лесов, кикимор и лепреконов. Любить без памяти. Безоглядно. Так, чтобы эта любовь не испустила дух на третий день.

Любовь живет три дня. Это поразительное открытие я совершил еще в девятом классе, когда первая красавица школы повела плечом и проплыла мимо. Знаете, как это обидно... Три дня, три дня ты готовился. Репетировал. Репетировал! Главное – не гримасничать и смущаться в меру. И цветы. Какие цветы могут быть куплены на уворованную у родителей мелочь? Букет тюльпанов с толстыми короткими стеблями, перевязанными нитками. Но я наскреб на розу. Вы знаете, она была роскошной. Лучшая роза в моей жизни. У нее был большой и довольно плотный цветок и длинная мясистая ножка. Если бы розу можно было есть, я бы тут же нашинковал ее в салат. Она была аппетитна, если так можно говорить о цветке.

Посмотрите на меня, я стою с цветком. Отрепетированной речью. Причесанный. Это важно. Рубашечка заправлена. Выпуск спереди чуть больше, сзади – поплотнее. Краси-

вый до жути. Вы вообще понимаете, на какой подвиг я пошел, через какой позор проходил в этот момент?..

Я стою в школьном коридоре. Мимо меня туда-сюда шагают одноклассники, пацаны из параллельных классов. Тычут пальцами, прячут улыбочки эти глумливые. А я стою гордый, красивый, в заправленной рубашечке. Причесанный! Это важно. Жду. Внутри затеплилось. Забилось. Вдруг понимаешь, что у тебя есть сердце. Оно может кричать, бить в барабаны, даже прыгать через лужи.

И вот по школьному коридору плывет она. Я весь обмер, сердце гулко стучит, в коленях слабость предательская. И язык, язык к небу прилип, не шевелится. Надо же что-то говорить, она уже поравнялась со мной, надо выдавить из себя хоть слово... Ну, ты же репетировал! Репетировал! И ты что-то мычишь и протягиваешь ей цветок. И даже как-то не весь цветок. Только часть. Так бывает, когда руки не слушаются, а ты хочешь цветок протянуть, и он не цветком вперед протягивается, а стеблем. И рука полусогнутая, пальчики дрожат. А потом цветок – бац! – и выпадает. Вот вся эта роскошная роза и на полу. И первая красавица школы смотрит на тебя, а потом плечиком так поводит и уходит. И уже неважно, что самый лучший цветок валяется на полу, что ты заправленный и причесанный. Внутри вдруг становится пусто и удивительно легко: все, отпустило. Щелк – словно кто-то могущественный и неподвластный твоей воле вдруг опустил рубильник. Поднимаешь с пола эту розу, бежишь к са-

мой некрасивой девчонке в классе, суешь ей эту розу: «Дормидонтова, на!» Выправляешь рубашечку, взлохмачиваешь прическу и выбегаешь на улицу. А там – весна! Птицы орут как оглашенные. Свежесть дурманящая, солнце! Да к черту ее, эту Ингу, тут такая весна!

Если честно, то я не был обделен женским вниманием. Женщины были в моей жизни всегда. Каждый час моего существования был пропитан ими. Юбки падали или задирались с завидной регулярностью. Меня любили женщины миниатюрные, такие хрупкие, что казалось, подуи легкий ветерок, и они сломаются пополам, рассыплются на тысячу мелких осколков. Эти маленькие березки оказались самыми стойкими. Гнулись и не ломались. Простите за двусмысленность, но одна такая фарфоровая девчонка выдерживала атаку моего бронепоезда несколько лет. Она ушла от меня сама. Когда у меня на перегоне что-то заклинило, и я перестал стремиться в ее депо.

Монументальные женщины любили меня не меньше. Им не хватало стойкости, но они старались. Страстно и сильно, так же сильно, как мечтали о счастье. Одна грандиозная женщина из Ростова как-то крепко прижала меня в танце и жарко зашептала на ухо:

– Мы заведем с вами котеночка и комнатную розу. Вы же любите комнатные растения? Помните, как в «Маленьком принце»: роза, что ждала тигров? У нас будет такая же. А еще мы станем с вами ходить в электрический театр. Вы же

любите электрический театр? Там сейчас дают прелестную вещицу. А в ванной мы повесим розовую штору. Вы же любите розовый цвет?

Я сбежал от нее через пару месяцев. На память остались упреки, розовая штора и жгучая любовь к большим округлым женским прелестям. Я так полюбил монументальных женщин, что когда одна из моих бывших миниатюрных девчонок спросила: «А как выглядит твоя нынешняя любовь?», я ответил: «Видела когда-нибудь нефтяной танкер? Ну, собственно, вот». Одна беда: мне с ними скучно. Милашки тоскливы. Сумасбродки предсказуемы. Развратницы банальны. Правда, моралистки веселят, но надо очень любить пранк, чтобы связать жизнь с такой дамочкой.

Где-то под океаном белого цвета на моем глобусе прячется Куба. Я уверен, она поможет мне развеять тоску. Если бы уже завтра мне пришлось выбирать между рыжими и темненькими, я бы выбрал темненьких. Любовь должна быть с привкусом шоколада, а не пива. О Кубе я знаю даже больше, чем об Ирландии. Оба острова роднит любовь к подручным плавательным средствам и к Новому Свету. Но вот Новый Свет не любит кубинцев. Америка не хочет, чтобы кубинцы ее строили. Видимо земли стало меньше. И согнать с нее остатки истинных хозяев уже не получится. Это все чертовы права человека! В новом веке геноцид стал предосудительным развлечением. Но я не Америка, меня восхищают кре-

олки, переплывающие Флоридский пролив в поисках белого жениха.

Однажды ирландки покорили Голливуд. «Гиннесс» и пара капель виски двигают жернова ирландской истории. Мохито – напиток пожиже. Кубинский ром создан для наслаждения жизнью. Тростниковый спирт не пробуждает в жителях кубинских островов боевого духа древних завоевателей. Он помогает лучше двигаться в такт кубинской сальсе. Но движения креольских женских бедер под сальсу лучше прыжков и подскоков ирландской джиги.

А еще я обнаруживаю в себе любовь к новоорлеанскому джазу. Он иногда напоминает мне танец теней на асфальте жарким летним днем. И грешное влечение к холодным красавицам нордического типа с неожиданно-страстным разрезом платья. Я чувствую в себе тягу к старым кадиллакам. Современные машины скучны. Их много, они одинаковы. Это жестяные коробки на колесах, различающиеся только продолжительностью вашего финансового рабства. В старых же автомобилях есть свой шарм. Даже то, что ручка переключения скоростей под рулем, спереди не два кресла, а сразу целый диван, это очень впечатляет. В таком автомобиле чувствуешь себя королем Нигерии, открывающим парад по случаю очередного военного переворота.

Я представляю, как пересекаю на моем Cadillac Eldorado вдоль кромки моря, скажем, где-нибудь в кубинском Варадейро. Я в парусиновых брючках, светлом поло классическо-

го кроя и шляпе «на панаму». А потом это становится похожим на клип Питбуля и Бруно Марса, где крепкозадые темнокожие танцовщицы исполняют тверк на капоте, натирая его воском и своими прелестями. Обывательская мечта. Мещанская. Прав Антон Палыч. Но что вы хотите, я уже засматриваюсь на молоденьких девочек – стремительно стараю. Что мне остается – Бруно Марс, Cadillac Eldorado и лето. Лето самой большой любви.

Лето – это любовь. В наших краях она не великая. У нас не принято быть в тепле долго, можно размякнуть, подобреть. Чего доброго потом начнешь частокол разбирать, скрепы духовные гнуть и задавать главному агроному вопросы, почему у нас урождается только лопух да крапива, когда могли бы ананасы и рябчики. Потом перестанешь ждать врагов, а после вовсе саксофон и бомбу в царя. Поэтому любовь у нас короткими перебежками, да и то чтоб вспотеть, а не согреться.

Я помню лето самой большой любви, не великой, просто большой. Такой любви хватает на несколько несчастных месяцев и еще на пару лет волнующих воспоминаний. Дни сохраняются в памяти как засвеченные фотографии. В них было слишком много солнца и яркости. И самые темные ночи, которые я до сих пор ощущаю всей кожей. Шепот. Вздохи. Скрипы. И твой «Мадди Уотерс» (ту-ду-ду-ду-ду!), который, как известно, «просто класс». Я жил тобой одно безнадежно короткое лето. Раз за разом я растворялся в тебе, как лед в

стакане с бурбоном. И ты была для меня солнцем, бризом, океаном, который я никогда не видел. Шептала во мне, рождая внутри теплоту и необычайную легкость.

Юная любовь – самая яркая. Вот эта сопливая, щенячья и ярче любого фейерверка! Любовь после первых ожогов такая осторожная, вдумчивая, техничная. Немного расчетливая. А вот эта незрелая, но удивительно сочная и вкусная, все равно самое заметное, ничем не выводимое пятно на рубашке любви. Но она до обидного быстротечна: еще вчера ты исследовал все изгибы и обводы ее тела, а сегодня она выставляет тебя за порог с ничего не объясняющим «не хочу».

Тем летом мы научились разводить дешевый бренди спрайтом. Получалось мерзко, сладко и липко. Вот так мы тогда и слиплись, те самые две половинки.

Знаете, как выглядели летние дискотеки в середине девяностых? Вот там отмечают, тут скандалят, а вот в том углу кто-то уже прячет труп. И не танцуют, а жмутся по углам... Вру, конечно. Дискотеки были не только поводом подраться – мы приходили туда *потискаться*. В темном зале под шумок можно было незаметно ухватить зазевавшуюся нимфу за задницу и быстренько смыться незамеченным. А в тот вечер меня подвел наш дешевый коктейль. Слиться не удалось. И вот нимфа уже сидит у меня на коленях, долго и путано объясняет что-то про свое имя, то ли греческое с белорусской транскрипцией, то ли украинское с датскими корнями. Как сейчас помню – *Одиллия*. Алкоголь подсказывал, что она

красива. И мои руки под ее футболкой это подтверждали. Одиллия сочно целовала меня мягкими чуть полноватыми губами.

И как-то случайно получилось: я оторвался от нее, вышел из зала и не вернулся. На скамейке у входа сидела некрасивая девчонка. Она что-то активно писала в блокнот. Нет, вокруг кипела жизнь, а она сидела и конспектировала. Я, по-моему, даже протрезвел от такого диссонанса. Что-то спросил, она буркнула в ответ. Я не смолчал, съязвил. Она парировала. И эта пикировка получилась такой увлекательной, что я не заметил, как оказался на улице. Оказывается, мы уже отмахали три квартала. Я держал ее за руку и слушал. Я редко слушаю. Я – вещаю. Друзья даже называют меня Центнер-FM. Они у меня сволочи, когда-нибудь я отомщу – приду к ним домой и съем вместе с домашними питомцами. Но в тот вечер – в тот вечер я молчал.

Она была не красива. Она была ошеломительна. Мы проговорили всю ночь. Шатались по улицам и говорили. Пытались поймать мотор. Улицы были пустые, тихие, безлюдные. Мы встретили рассвет на балконе подъездной площадки какой-то многоэтажки – и расстались. Утром я вспомнил про ту, с губами и грудью, Одиллию. Она успела мне на ладони написать свой номер. А некрасивая девчонка свой номер не оставила. Я потом несколько раз приходил на ту дискотеку, сидел на той скамейке. Так и просидел все лето. Вместе с Одиллией. Ждал, но чаще целовался.

Любовь – самый жестокий бог. Вернее, богиня. Вы замечали, как жестоки могут быть женщины, лишённые любви? Задумайтесь, ведь на самом деле Любовь никого не любит. Ей не до этого. В мире мало любви, и надо всех одарить. Все семь миллиардов! Чем больше любви, тем больше людей. Чем больше людей, тем меньше любви. Без любви – как без приправы: жить можно, но пресно. Вот и живём. Семь миллиардов никем не любимых болванчиков. Глиняных големов.

Любовь – это дверь. Но – сюрприз – без глазка. Так что неизвестно, кому ты откроешь. По этому поводу у меня есть две волшебные истории о любви. Я помню, тогда ларьки были на каждом шагу, пиво-водка-сигареты. Ну и всегда толпа страждущих у окошка. Стою возле ларька, а передо мной девочка. Сейчас таких принято называть «няша». Моя няша была образца девяносто шестого года. Стройная крашеная блондиночка в узенькой джинсовой юбочке и растянутой футболке с принтом. Сама хорошенькая, ну просто девочка-отличница.

И вот она подходит к окошку ларька, наклоняется, чтобы туда что-то заказать. Кто не застал – расскажу: ларьки были грубо сколоченными киосками типа советской «Союзпечати», а в них окошки на уровне вашего пояса, поэтому надо было складываться в два, иногда в три раза и почти нырять в это окошко. Вот моя няша нагибается (стоит отметить – зрелище приятное), краем глаза замечает в дальнем конце ули-

цы парня, тут же все бросает и бежит к нему. Парень тоже видит ее и мчит навстречу. Играет лирическая мелодия. Она – красивая, в этой юбочке, футболочке с принтом, длинные волосы развеваются, и он – коротко стриженный, почти лысый, в спортивном костюме, но выглядит, знаете, мужественно; и они бегут навстречу друг другу.

И вот она падает в его объятия и кричит:

– Тоха, сука, я тебя хер больше отпущу! Я, бля, две ночи рыдала!

А он ей так успокаивающе в ответ:

– Да, ладно, все ж обошлось. Хрен ли так волноваться. Любовь.

А потом возле того же ларька наблюдал другую картину. Она маленькая, как японская фарфоровая статуэтка, а он огромный, ни дать ни взять – американский гризли. Представьте, как миниатюрная девочка тащит на себе этого гризли. Это было похоже на диснеевский мультик про храброго мышонка, который поймал огромного страшного кота и теперь тащит его к себе в нору – то ли сразу съесть, то ли сперва судить, а уж потом съесть. И вот этот гризли молча висит на девочке мешком, иногда что-то пьяно булькнет и снова затихает. В конце концов она не выдерживает, прислоняет своего медведя к стенке ларька, трясет его и плачет:

– Гриша, я же просила! А ты опять напился!

Гриша отрывается от стенки ларька, принимает на секунду героическую позу, отвечает:

– Да я люблю тебя, ептель! – и падает прямо на нее.

Девочка успевает его перехватить, взваливает на себя и шустро уволакивает. Наверное, к себе в норку.

Тоже любовь.

А вы заметили, что у нас больше нет бабьего лета в сентябре? Вот этого длинного теплого угасания, с летающей паутиной, с прохладными вечерами. Как-то сразу раз – и октябрь, заряжают холодные дожди, изо всех щелей лезет сырость. Летние кафе сворачиваются. Убираются веранды, тенты, столики, зонтики. Даже шашлычники разбирают мангалы. И последнее августовское вино из одуванчиков не радует – слишком горчит. В это лето опять *не случилось*. А сколько было планов... Знаете, что такое *просрать лето* на самом деле? Это когда за три восхитительных летних месяца ты не завел себе человека.

У нас жестокая зима. Особенно беспощадна она к тем, кто не успел за лето завести себе человека. Взять человека «про запас» – это ведь как медведю накопить подкожный жир. Кто будет вас согревать долгими зимними ночами? Кто напичкает теплом? Кто станет лучшим средством от авитаминоза ранней студеной весной? Ваш летний человек! Не всем везет, но так случается, что этот человек дотянет до следующего лета, а потом еще до одного. И еще... Человек человеку – лучший витамин. А про волка придумал несчастный одиночка. У него не было лета, бренди со спрайтом, скамейки и некра-

сивой девчонки.

Знаете, это становится похожим на сентиментальное путешествие Иванушки-дурачка в Царствие небесное: открыл дверь, поймал попутку и бесцельно едешь в никуда. Одно радует: в качестве транспорта – не серый волк. И хоть все дороги ведут в Кострому, добраться по ним из пункта «А» в пункт «Б» очень непростая задачка.

Скажем, поезда. Я не испытываю к ним любви. Кто-то рад упасть в купе на полку и всю ночь проспать под стук колес. Эти счастливчики наверняка могут сладко спать под грохот артиллерийской канонады или под звуки интимных утех соседей сверху. Я думаю, что канонада даже предпочтительнее: ничто не раздражает сильнее неровного ритма и стонов неупокоен. А в поезде даже стук колес не помогает.

Железнодорожная Россия скучна необыкновенно. Картинки в окне разнообразием не балуют. Железнодорожная Россия своего зрителя не любит. В окне какие-то чахлые березки вдоль откоса, изломанные, жалкие, будто дети-сиротки, жмущиеся к обочине. Еще – ивняк, царь горы, блатной король железнодорожных откосов. Растет всюду, везде ему хорошо, везде благуется. И тополя. Иногда мне кажется, что тополя у нас – незаконные эмигранты: их много, они везде, и даже там, где всегда росли березы или ивняк, теперь они. И вот этот зеленый живой забор вдоль откоса, он как паранджа: смотри на это обилие листвы и гадай, что же за ней прячется.

Иногда попадаются деревеньки. Пятак дворов, деревян-

ные дома, покосившиеся, почерневшие фасады. А сверху – спутниковая тарелка. Здесь тоже смотрят «Игру престолов». Болеют за Тормунда.

Железнодорожные пейзажи – это самое скучное зрелище. Ни тебе резких поворотов сюжета, ни мастерских актерских работ, на спецэффекты вообще не тратились. Сразу хочется заорать: «Опять бюджет распилили?!» или «А почему сценариста не позвали?», «Режиссер бездарь!», а потом обязательно: «Просрали Россию».

Любому поезду я предпочитаю самолет. Я люблю самолеты и обожаю аэропорты. Аэропорт – это обещание. Это даже лучше поцелуя. Поцелуй – это практически обязательство, после него надо приступать к телу. Аэропорт же ничего не обещает. Вот ты целуешься, стараешься соответствовать ожиданиям, а аэропорту на твои ожидания плевать. Он может запросто не принять: нелетная погода, забастовка диспетчеров в Венесуэле... или кто-то опять на машине по залу ожидания катается. Аэропорт принял и отправил. Он не дом, не приют, он к вам абсолютно равнодушен. По сути, все воздушные гавани – двери. Открыл – и ты в Майами. Или в Токио. И, конечно же, в Дублине. Хоть и с пересадкой во Франкфурте. И Брендан Глисон у стойки прибытия с моим именем на табличке. Выглядывает меня в толпе прибывших. Волнуется. Ждет солянку.

Я не понимаю тех, кто боится летать и предпочитает самолету поезд. Нет, я признаю, что это немного страшно. Вот эта

огромная железная машина, которая не должна летать, несет тебя в своем чреве на высоте десяти тысяч метров. Такую высоту даже представить страшно. У меня на краю крыши пятиэтажки ноги подкашиваются, а тут – десять тысяч! Но это как с морскими путешествиями: под тобой беспокойный океан, а глубина такая, что ни один Джек ни к какой Розе не вернется. Но ведь плывешь. Аэрофобы тоже все равно летят. Молятся и летят. Летят и молятся. Самолет трясет, а эти – молятся. Истово, очень искренне.

Меня всегда это удивляет. Как молитва поможет? Самолет летит с божьей помощью и святым благословением, что ли? Или помолился и в случае чего выжил? Не надейтесь. Если вдруг что, молитва поможет только к божьему престолу без лишней толкотни пройти. Хотя и тут я не уверен. Верующих много, плюс атеисты и агностики... пока всех рассортируют, долгую очередь отстоять придется. А для таких вот желающих на святом слове в рай без очереди въехать – отдельная очередь. С другой стороны, возможно, эта многотонная машина и летит только благодаря молитвам. Сначала молился первый конструктор, чтоб этот трельяж с пропеллером полетел, потом первый пилот: «Ну, пожалуйста, ну, лети!» А уж после и пассажиры: «Только не в океан, только не в океан, я и плавать то не умею!» Не удивлюсь, если святым словом можно будет червоточины открывать и попадать в другие галактики. Тоже, кстати, двери.

И вот мы летим, удерживаясь в воздухе реактивной тягой

и словом святым, торопимся в пункт «Б». Стюардессы улыбаются, разносят напитки. Капитан бубнит в интерком непонятное на нескольких языках: «Дамы и господа, говорит капитан, наш полет проходит на высоте десять тысяч метров, температура за бортом минус двадцать пять градусов, в аэропорту прибытия температура хорошая, экипаж желает вам приятного полета... Ladies and gentleman, this is your captain speaking...» А потом вдруг четко и хорошо различимо добавляет: «Вашими молитвами, никто не умрет сегодня».

Мысли о смерти занимали меня с детства. Мне казалось это удивительным. Мне пять лет, я живу с мамой и папой в большой квартире с удобствами во дворе. Сплю на диване в самом сердце мира. Засыпаю под уютное тиканье огромного металлического будильника и мерное гудение газовой горелки в печи. Я есть. Я живой. А потом – мертвый. И меня нет.

Нет этого противного лампового света темным зимним утром, чада дровяной печи, ледяного деревянного пола на кухне. Нет даже будильника. Металлического. С расцарапанным боком и небольшой трещиной на стекле. Меня нет ни в своей постели, ни в зале под столом, где я изображаю танкиста. Меня нет во дворе, где мы с отцом пилим двуручной пилой толстые липовые бревна. Меня нет нигде. Вообще. Разве это не странно?..

Но всерьез это не воспринимаешь. Смерть – это такая игра. Вот умру, думал я, они все будут плакать, причитать, какое чудо они потеряли, а я встану и скажу: «Ладно, я пошу-

тил». И тут уж они все меня на руках носить будут, конфеты без счета давать, даже бутерброд с маслом и вареньем сделают. С малиновым! Я буду сидеть довольный, жевать батон, запивать сладким чаем... А что, вот так помирать мне нравится! Надо будет повторить.

С возрастом эти мысли отошли на задний план. Жизнь кипела и грозила бессмертием. Во всяком случае, мы именно так проживали нашу жизнь. Смерть оказалась рядом как-то неожиданно. Надо быть честным: когда умирают престарелые родственники, даже любимые, это оказывается ожидаемой потерей – старость и смерть идут рука об руку. Но когда вдруг «взрывается» где-то рядом, нас накрывает. Мы ведь бессмертные, с нами нельзя так, мы никогда не умрем. Наша жизнь бесконечна, прекрасна и насыщена яркими событиями. Мы вечно юные боги. А тут нам показывают, что веселье может закончиться в любой момент.

У меня тогда была четырехстрочная «Моторола» – между прочим, весомая причина для гордости. Как и Sony Walkman. Легендарный был кассетник. Я так и ходил: сбоку на ремень вешал плеер, а спереди – пейджер. Четырехстрочный. Серьезный аппарат, не чета вашим дешевым однострочникам. Каким же невероятно успешным, каким значительным я себя тогда ощущал... На этот пейджер и пришло сообщение. Длинное, в четыре строки не уместилось. Я перечитывал его несколько раз, но никак не мог взять в толк, разве это возможно – вот так взять, открыть эту дверь, шаг-

нуть вниз и больше не встать? Даже за конфеты и бутерброд с малиновым вареньем?

Мы с ним не дружили. Мы хорошо знали друг друга. Выпивали, дурачились. Влипали в разные веселые истории. Он был чуточку отстраненным, слегка надменным. Любил принарядиться. В нынешние времена он бы наверняка стал хипстером. Но он ушел первым. Неожиданно и ожидаемо. У него была записка – что-то невнятное, она ничего не объясняла. Да нам и не надо было. Мы и так понимали, что его зависимость добром не кончится. Но когда на пейджер пришло многострочное сообщение, меня оглушило: я не верил, что это произошло. Рассказал всем, до кого дотянулся. Я надеялся, что кто-нибудь мне скажет, что это неправда, в двадцать четыре не умирают. Двадцать четыре – это самый пик бессмертия. Но мне в ответ только сочувственно кивали головами. Я попробовал утопить это новое для себя чувство в женщине. На миг стало тише, но утром пришлось ехать на кладбище. Добровольно, а не потому что надо было проститься.

С тех пор мысль о суициде оказалась, что называется, next door. Благодаря этому соседству много позже я понял, что понимаю самоубийц. Не одобряю, не поощряю – просто понимаю. Знаете, когда в дублинском аэропорту не томится в ожидании твоего рейса Брендан Глисон или когда Кострома гасит огни маяков, на сцену выходит старый добрый Тайлер Дерден. Теперь ему недостаточно варки мыла из чело-

веческого жира и вклеивания порно кадров в карамельные семейные фильмы, ему нужны жертвы. Может, я стану рассказчиком, перестану рвать жилы ради сверхпотребления. А может, мне повезет больше, и я стану Марлой, найду себя в саморазрушении. Мой Тайлер мог бы оставаться легендой, символом, сраным Че Геварой на майке. Тогда его можно продать, лишив бунтарской привлекательности. Но когда-то я открыл эту дверь.

Я не способен на решительные действия. Однажды я был уверен, что не переживу расставания и пора решить этот вопрос окончательно. Резать вены надо в горячей воде, и не поперек, а вдоль. Меняхватило только на то, чтобы достать лезвие из бритвы и порезаться. Вдобавок в доме отключили горячую воду. Тогда я еще не был знаком с Тайлером. Сегодня могу себе представить, как этот красавчик заходится в истерике от хохота, представляя эту картину в красках. Нет, зрелище и вправду уморительное: кран шипит и плюется, я стою с разрезанными подушечками пальцев, а на лице столько решимости – то ли газы сдержать, то ли кровь смывать. Вы простите, но вовремя пернуть – это сбить к чертовой матери весь пафос момента.

Мой Тайлер улыбается. Все-таки жизнь устроена странным образом: один раз оттуда, чтобы потом всю жизнь туда!

А вот сейчас будет неожиданное: вы знаете, какого размера член у пекинского селезня? Я спрашиваю со всей серьез-

ностью, понимаю при этом, что вопрос задан некстати. Но почему-то именно сейчас мне захотелось вас познакомить с Варей. Варя – мой самый большой друг и лучший из учителей, что мне посылала жизнь. Знание ответа на вопрос о придатках селезня хорошо ее характеризует. Вот вы про них не знаете, а она – знает. И живет с этим.

Варя – абсолютно городской житель. Она родилась в городе, жила в нем большую часть сознательной жизни, а потом вдруг хлоп – и заделалась деревенской. Мне она это объяснила так:

– Толстый, только сельская жизнь во всей красе – когда все вот так, на виду – позволяет не просто наблюдать за ее течением, но и бесконечно охреневать от беспредельной креативности Творца.

Лично мне этого объяснения было достаточно.

Варя божественно жарила картошку. Ничего особенного: сковорода, масло, немного лука. Картошка резалась крупной соломкой. Лучше Вариной картошки я не ел никогда. Руки у нее были из правильного места, что ли? Ну или как там это у поваров называется... Но она не была поваром. Она вообще не заморачивалась ни на чем, тем более на готовке: есть поганые пельмени машинной лепки – сойдут и они, лишь бы не слишком напрягаться. Она в принципе так жила – не напрягаясь. «Белая пони» – так она однажды себя назвала. И рассказала историю про раннее утро в одном сибирском поселке. Пони тогда пропала – подробностей не было, пропа-

ла и пропала: несущественное Варя умела выносить за скобки. Просто раннее летнее утро, сибирский поселок, туман. И тут из тумана прямо к Вариному двору выходит пони. Белая. Даже молочная. Тыкается в плечо... и говорит человеческим голосом: «Угостите даму сигареткой». Я всегда ее прерывал в этом месте, а она всегда ржала, как та самая пони. Это была хорошая история, она всегда прекрасно шла под водку.

Мы любили эту белую пони, ее всегда можно было окончить так, как заблагорассудится:

– И тут она тычется мне в плечо и говорит: «Идут за мной, мне б схорониться»... Нет, не так, тут она тычется в плечо и говорит: «Же не манж па сис жур, пожертвуйте фюньф копеек бывшему депутату Государственной Думы»... Или – и тут она подходит, хлопает по плечу и говорит: «Семки есь, шоле? А еси найду?»

Этот рассказ так и не обрел долгожданный финал. Белая пони не стала быстрокрылым Пегасом, не унесла нас в тот край, где нам было бы достаточно початой бутылки водки и картошки. Жареной. Ничего необычного – сковорода, масло, немного лучка. Потому что Варя умерла.

Так получилось, что мы не виделись недели три. Я как-то замотался. И она не выходила на связь. А потом вдруг вечером пришла в гости. Я на радостях сбегал на кухню, сполоснул стаканы, достал бутылочку. Долго извинялся, что початая. Разлил по первой. Мы выпили, я долго соображал закуску, потом предложил картошки пожарить. Варя сидела

необычно молчаливая. Вертела в руках стакан, потом поставила его на стол и сказала:

– Знаешь, Толстый, я ведь недавно умерла.

Это прозвучало так буднично, как бы между прочим. Умерла и умерла, подумаешь, что тут такого. Как умерла, так и воскресла, как будто у самого так не бывало. Будто рай – это такой большой зал. В нем очень много людей. И каждый находит свою ячейку, забирается в нее, и там ему так уютно, так хорошо...

Потом Варя выпила, выдохнула и ушла. Вот так я и узнал про рай.

Кстати, про член селезня – он у него два метра. Селезень для удобства сворачивает его в бухточку. Так что теперь и вам жить с этим знанием.

* * *

В моей жизни всегда незримо присутствуют два человека. Я их не знал, но они всегда со мной. Первый – это моя бабушка. Она умерла, когда я был младенцем. У каждого какой-то особенный рай. Про свой я узнал случайно. Я не умирал, но так случилось, что ощутил, какой он. Не спрашивайте, не смогу объяснить. Бабушка рассказывала, что там были цветы. Она там была, она знает. Она бежала по целому полю ярких цветов – и очень расстроилась, когда ее вернули в нашу серую реальность. В моем раю растет дерево. Вековой дуб, огромный, раскидистый, с густой кроной. Под ним рас-

стиляется мягкий мох. А земля теплая, как камни, нагретые южным солнцем. Под ним сладко спится. И там меня ждут два человека, которых я никогда не видел. Моя бабушка. И моя дочь.

Эту боль не пережить никогда. Она всегда с тобой. К ней как-то привыкаешь, смиряешься с ней. Теперь вас двое – куда ты, туда и она. Рядышком на табуреточке. Или за одним столом. Иногда она вдруг резко бьет под дых, сбивая дыхание, вколачивая диафрагму в позвоночник. Но большую часть времени ее не замечаешь. Санитарка тогда спросила: хотите открыть лицо? А я испугался: нет, не хочу.

Никогда не думал, что старая коробка из-под обуви может вместить в себя человека целиком. Я еду в машине. Коробка с человеком у меня на коленях. Я звоню другу, поздравить его с днем рождения. Желаю ему счастья и долгих лет жизни. Казалось бы – нашел время. Но ужас, что я к тому моменту испытывал, отключил чувство реальности напрочь. Это я еду на кладбище с человеком в старой обувной коробке. И не я. Я сейчас звоню другу и поздравляю его с днем рождения. И снова не я. Я остался в том коридоре, застопорился в тот миг, когда санитарка протянула мне туго спеленатый сверток и спросила: хотите открыть лицо?

Когда уезжаешь в другой город, в качестве багажа с собой стоит брать не только собственные познания о любви и смерти. Может случиться так, что Кострома перевернет мои представления, и я вновь стану подростком. У меня высо-

чат прыщи и способность удивляться окружающей действительности. А вместе с неудержимым либидо из меня начнет рваться гениальность. Теперь представьте, что играет музыка, что-то из Moby. Обычно в фильмах такая музыка сопровождает момент озарения главного героя. Итак, беззаботность умерла в две тысячи седьмом году, а в тысяча девятьсот шестьдесят втором ей поставили памятник. Посмертно. Меня зовут Бен. Когда я родился, то был седым, маленьким и сморщенным, меня звали Кузьмой и я умел летать. С годами седые волосы загустели, окрасились и заколосились. Я стал пухлым и поправился. Навык летать рассосался как атавизм.

Трава всегда зеленее в тени, потому что не вытоптана. Пчела садится только на вкусный цветок, а перед ураганом дует теплый ветер. Я думаю о сексе триста шестьдесят пять дней в году, иногда триста шестьдесят шесть. Но секс не думает обо мне. Все люди делятся на красных и синих. Синие умерли, но живут. А красные живы, но сломаны. Чтобы жить, синим нужен распорядок, будильник и цель. Красные просто лежат на полке и хотят любви. Но никто не любит сломанные игрушки. Если вы синий, дальше не слушайте. А если красный, знайте – беззаботность не умерла в две тысячи седьмом году, ее убили. Я знаю, кто это сделал, но не скажу. Потому что тогда красные станут синими и любовь умрет. Я снова хочу летать. А без любви могут летать только синие и только в самолетах.

Все разговоры идут по кругу. Даже когда уже не надо ни-

чего выяснять. Мой Тайлер очень любит этот момент, когда все ранее сказанное повторяется. Ты просто бежишь по спирали, с каждым кругом переходишь на новый виток. Я был уверен, что переезд в Кострому сделает меня красным. Я буду сломан, но жив. Тайлер смеется: он любит неожиданные открытия.

Некоторые двери необходимо оставлять запертыми. А еще лучше – наглухо замурованными. Как тогда, когда я однажды вернулся в свой старый дом и не обнаружил двери. Ее попросту замуровали, заложили кирпичом и аккуратно заштукатурили. Придумать что-то более наглядное избитой фразе «никогда не возвращайся туда, где тебе когда-то было хорошо» нельзя. Что ты хотел увидеть? Поленницу в нише между печкой и стеной? Пружинный диван, оставленный умирать в этом старом заброшенном доме? Или ты пришел за тем мальчишкой, что когда-то ночами слушал дикторские объявления, доносившиеся с железнодорожного вокзала? Хочешь вернуть мечтательную беззаботность, порожденную паровозными гудками? Но ты не любишь поезда.

Тайлер любит позвенеть моими цепями. Ему нравится мучить меня несбывшимся. Вот ты, веселый, увлеченный и яркий, к своим годам получаешь бублик, фантик и фасадную штукатурку. Торс ветшает, задница отвисает, щеки прикрывают шею, глаз тускнеет, зуб крошится. Из яркости остается телевизор, из увлечений – порнография, из веселья – алкогольная абстиненция. И так до утра. А утром в Костроме

туман.

В туман хочется закрыть глаза. Ты плывешь куда-то. Раньше ты жил на улице имени двух человек, а теперь у тебя седина. Туман возвращает туда, где улица имени двух человек была еще жива. Выходят люди, здороваются. Они тоже жили на улице имени двух человек. Ты видел их только на фотографиях, а они вдруг садятся на краешек кровати, что-то говорят. Но потом туман поглощает улицу вместе с автобусной стоянкой, молочным павильоном, случайным цыганенком и тремя разноцветными кошками. И оставляет только запах. Смесь табака и водки. И немного гашеной извести вперемежку с запахом сырых досок.

Мой родной город меняется. Уходят улицы, сгорают дома, иногда целыми кварталами. Вырубаются сады, вытаптываются дворики. Срываются бульдозерами старые здания времен царя гороха, от которых остались только фасадные стены, торчащие посреди улицы как гнилые зубы. Старую жизнь убивали расчетливо и методично.

В мой родной город приехали те, кто знает, как сделать его лучше. Они закатали рукава и начали его благоустраивать. За пару десятков лет мой родной город стал относительно чистым, немного облагороженным местом, в котором невозможно жить. Пришли те, кто знает, как сделать красиво. И они сделали. Даже стеклянная высотка появилась. Торговые центры выросли на месте заводов, бизнес-центры – на месте бараков. Нет, это хорошо. Действительно хорошо, когда

твой город из серого, страшного, некомфортного места превращается во что-то блестящее и переливающееся огнями – в китайский спиннер. Одна беда: место, где люди жили в дискомфорте, превратилось в место, где жить не-вы-но-си-мо.

Знаете, почему мужики тогда пили? Не гламурненько выпивали в барах, а именно глухо и крепко надирались? Им было страшно. Каждый день у нас война. Каждый день надо идти в атаку, а кто ж на трезвую голову воюет... Нет, настоящие бойцы мне расскажут, что выпивать нельзя. Что пьяным только под кустом с блохами воевать можно. Они правы. Резать людям глотки сподручнее трезвому.

У меня есть приятель, он прошел три войны. Я бы никогда не сказал, что он настоящий головорез. У него открытая улыбка и глаза голубые-голубые. В отличие от многих ветеранов, он смог найти себя в мирной жизни. Но иногда его прорывало. С виду щуплый, с добрым лицом и наивным взглядом, он здорово вводил потенциального противника в заблуждение. Как-то раз его бригада решила, что с Владиком можно не делиться, а попросту отдубасить за стройплощадкой. Прораб потом долго выяснял: «Владик, ты зачем бригаду убил?» А Владик смотрел добрыми чистыми голубыми глазенками и, проморгавшись, отвечал: «Я не убивал, только калечил».

Командир так говорил Владику: «Я тебя спишу вчистую, какой ты разведчик, ты пленного расстрелять не сможешь! У тебя рожа слишком добрая». Когда Владик перерезал плен-

ному горло, командир хлопнул себя ладонью по лбу и закрычал: «Бля, так в человеке ошибиться!»

Чем мне всегда нравился Владик, так это тем, что мог задавать потрясающе парадоксальные вопросы. Например:

– Скажите, вот сказать человеку «заткнись, сука» – это нормально? Или нужны предварительные ласки?

К сожалению, даже такой боец не сможет спасти мой город. И в этой ситуации остается только глухо надираться.

Знаете, что объединяет пьяниц прошлых и нынешних? У нас до сих пор общий страх. Беспомощность перед происходящими событиями. Невозможность на них повлиять. В моем родном городе сейчас властвует стяжательство. Старый город мешал строить высотки. Его надо сжечь. И сожгли. Оставшееся превратили в убогий лубок, отданный на откуп рестораторам. На месте пепелищ у города теперь есть новые жилые комплексы – стеклянно монументальные, с подсветкой фасадов. Город отрастил новые зубы. Светящиеся, новенькие и настолько огромные, что не помещаются в челюсти.

Раньше я говорил, что не любил тот старый город, с его нищетой и грязью, хмурым небом и почерневшими фасадами домов. Меня раздражали серые бетонные мешки спальных районов, гнилые бараки трущоб, кособокие домишки царских времен, неухоженные скверики и тяжеловесный стеклобетон официальных зданий с тяжелыми бронзовыми табличками на потрескавшихся фасадах. Он был убог, мой

город. Но у него была душа.

Тогда у нас было всего три праздника: Новый год, День Победы и Первомай. Город был бос и оборван. Дырявые штанцы, кургузый пиджачок, надетый поверх растянутой майки, и серенькая, низко надвинутая на брови домов кепочка неба над головой. В праздники же он наряжался: прорехи затягивал кумачом, украшал себя красными флагами, даже кепочку серую снимал. И уже на Первомай небо над городом было бирюзово-голубым с мелкими вкраплениями белого. Было празднично, мы шли веселые, с шариками и флажками, кричали «ура!».

Мой родной город – нежеланный ребенок. Его до сих пор сопровождает плохо скрываемое легкое презрение старших братьев – за чернявость, за говор, за обособленность. Он рос в невнимании, и это озлобило его, но стать сильнее не помогло. Он начал искать себя в подражательстве – и преуспел. Страхнув вековой налет провинциальности, он заодно избавился от всего, что делало его самим собой. Призвав тех, кто решил сделать его столицей, он убил себя.

Я любил его. И очень хочу любить обновленным, но не выходит. Он изменился, но не стал богаче, столичнее. Его до сих пор обходят вниманием прогнозы погоды на федеральных каналах. И вот это невнимание со стороны Гидрометцентра как-то особенно обидно, по-детски. У нас те же погоды, такие же дожди. А снега и морозы у нас не чета вашим, столичным. Так отчего же регион Кавказские Минеральные

Воды «Прогноз погоды» упоминает, а мой родной город обходит стороной? А ведь ненастная погода или аномальная жара ни разу его не обошли.

Да, город чище без многочисленных помоек во дворах и уличных туалетов. Да, он выше. Не два, не три этажа – больше. Не кирпич, не дерево – мо-но-лит. Теперь он стал похож на человеческий муравейник, закованный в асфальт и бетон. Над ним все то же небо. Но под небом уже не тот город.

Мы привыкли романтизировать наши декорации. Разве Кострома не лучший город на Земле? Оглянитесь вокруг! Это не улица Луначарского, это рю Даржантей. А вот это не переулок Кирова, это виа Ди Рипетта, и пересекает она не Вторую Юго-Западную улицу, а Шафтсбери-авеню. В нашей земле тысячелетняя история. Мы поем о ней в песнях. Мы пишем грандиозные полотна, на которых Кострома встает во всем своем тысячеэтажном великолепии. На таких улицах не так обидно стать жертвой поножовщины. Здесь получали перо в брюхо люди значительные, серьезные. Здесь корчились в луже крови капитаны-америки. Здесь разбивали пивной кружкой головы парачельсы. Здесь стоял на коленях Карл Первый, молясь о скорой и безболезненной кончине. Камни этих мостовых истирали подошвы бунтарей-каторжников, из них выбивала искры тяжелая конница безжалостных восточных завоевателей.

Виды центральной городской ТЭЦ живописал Тулуз Ло-

трек. Красотами дымных рассветов улицы Первого Мая восхищался Хемингуэй. На широких проспектах Костромы сражались капитаны революций. Рушились колоссы и гибли титаны. На ступенях свердловского дворца правосудия истекали кровью герои. И Жан Вальжан спасал возлюбленного своей воспитанницы, пряча его в ливневой канализации микрорайона Жужелино. Кострома – центр мира. Земля нибелунгов, край песьеголовых свирепых воинов, едущих верхом на пещерных медведях. Легендарный небесный замок, в котором нет ничего – и весь мир. Теперь вы понимаете, что у меня не было шансов, я был обречен приехать в этот край? Нет?.. Вот и я не понимаю.

Дублин сверкает огнями в недостижимой дали. За иными морями. Брендан Глисон скучает где-то на лавочке в дублинском парке Сант-Стивенс-Грин. Кормит лебедей, прихлебывает Jameson из бутылочки в бумажном пакете и ждет меня. А я в Костроме. В городе, о котором знаю только одно – когда-то его дотла сжег князь Константин.

Кажется, сегодня я начал понимать одиноких пьяниц. Кострома раскрывает меня с неожиданной стороны. Оказывается, напиться в одиночестве – неплохая идея. Тебя как будто укутывают байковым одеялом. За окном сильный снегопад, а ты сидишь в тепле, в оцепенении и пялишься в окно. Иногда это похоже на медленное всплытие. Я – древний монстр, доисторический плезиозавр, поднимающийся из темных глубин океана. Как в рассказе Брэдбери, я иду

на зов ревунa. Однажды я дойду и встречу его. Совершенно случайно. Он будет сидеть в баре у стойки и пить виски. Именно виски, я настаиваю. Водка – напиток для унижения или войны, а вот виски – это путешествие. Истинный гений – всегда путешественник, даже больше – бродяга. Я тоже плюхнусь за стойку, закажу порцию островного виски, мы случайно разговоримся. И я надеюсь, что мой случайный собеседник окажется гением.

Мы все стремимся найти свободные уши. Для нас езда по ушам – что-то вроде национального спорта. Это заменяет нам психоанализ. Правда, все наши разговоры сводятся к ворчанию и недовольствам. Мы недовольны работой, сексом, доходами, правительством, соседями, каннибалами в Африке. Работой и сексом – чаще всего. А то, что в Африке жрут людей, для нас хороший повод завязать непринужденную беседу. Ведь не скажешь первому встречному в баре: «У меня маленький офис и пипирошная зарплата, по понедельникам я плачу в душе, а потом дрочу. И это лучшая часть моего дня». Если собеседник окажется гением, то он пристыдит за воровство чужих монологов. Но согласится, что поонанировать с утра и вправду лучшая часть дня.

Надо ли после этого выходить из дома? Лично я не уверен. Но гений сможет обосновать, почему из душа вылезти надо. Для чего обтираться полотенцем, одеваться и ползти на работу. И это не только из чувства долга перед семьей, банком и обществом. Есть замечательная возможность подро-

читать в офисном туалете, фантазируя о новой сотруднице из бухгалтерии. Чувствуете разницу? То-то же! А потом можно порассуждать о творчестве Бертольда Брехта или манифест супрематистов обсудить. Но главной удачей будет... *помолчать*. В сорок с хвостом нам всем есть о чем похныкать. Но помолчать с гением – гениально.

Вы видите это? А я уже вижу. На стойке бара – медная табличка «Здесь 20-го числа месяца марта молчал гений». И этим все сказано. А уж если гений захочет с тобой поговорить, тут надо вытряхнуть утреннюю сперму из ушей и слушать.

Теперь вы понимаете, почему я надеюсь на встречу с ним? Осталось только понять, с чего я решил, будто гений посетит мой любимый кабаk и снизойдет до беседы со мной. Возможно, я идеализирую дублинские забегаловки. Скорее всего, в пабе на Гафтон стрит глушит виски боевик ИРА. А гений сидит себе в уличном кафе на набережной Виктория Куэй, потягивает молочный улун из бумажного стаканчика и дописывает комикс про одиночество. Тот самый, где люди живут с огромной дырой в груди.

Я долго чувствовал себя героем этого комикса. И не мог смириться с этой дырой в полтела. Я заполнял ее другими людьми. Так я встретил Марлу. Мою Марлу звали Ольга. Лера. Стася. Ника. Дарья. Владилена Самитовна. И даже Амина, которую я звал Иди. За диктаторские замашки и подозрение на людоедство. Я искал свою Марлу в тысяче других.

Жаждал совпадений. Я заталкивал в себя чужих, неподходящих, отстраненных и даже жаждущих, но они не смогли заполнить меня. Марла. Глупая толстая Марла. Где ты сейчас? Чья горячая сперма наполняет твой рот? Роди мне моего Тайлера. Я устал от этих смыслов, хочу другие. Марла, раздвинь ножки. Прими, опустоши. Стройной колонной я двинусь в тебя, сметая на пути все барьеры. К черту устои! Мир устал от беззубых символов, он хочет кровавых жертв. Он верит в них так, как верили в избавление от дождя древние люди, сжигавшие девственницу на жертвенном костре.

Я люблю тебя, Марла. Однажды я найду тебя. Я заполню себя тобой. Ради тебя я снова спалю Кострому, вернусь домой и стану целым. У меня будешь ты. И будет Берта. И знаешь, однажды в нее постучат. Я открою. На пороге будет стоять Брендан Глисон.

Марла, знаешь, что я скажу ему?

Здорово, Кострома!